

Единственная серия, которую ее герои читали бы с любопытством.

Дмитрий Быков



Бунин

[Бунин]

Б Е З Г Л Я Н Ц А



Лада Викторовна Сыроватко
Павел Евгеньевич Фокин
Бунин без глянца
Серия «Классики без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10777351

*Бунин без глянца : [сост. П. Фокина и Л. Сыроватко ; вступ. ст. П. Фокина]. : Амфора; Москва; 2021
ISBN 978-5-386-12274-4*

Аннотация

Бунин одним из первых в «железном» веке нашел художественный ответ времени безразличия и беспредела. Затертый в смуте между грозными течениями друзей и врагов, он высился одинокой вершиной, с виду почти «ледяной», но внутри готовый превратиться в вулкан.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Свой среди чужих, чужой среди своих	5
Личность	16
Облик	16
Характер	33
Творчество	47
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Бунин без глянца
Составление Павла
Фокина и Лады
Сыроватко Вступительная
статья Павла Фокина



РИПОЛ
КЛАССИК

© Фокин П. Е, составление, вступительная статья, 2018

© Сыроватко Л. В., составление, 2018

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

Свой среди чужих, чужой среди своих

Чем дорожее нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила... Мне горько не только оттого вообще, что до сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо другой.

Владислав Ходасевич

Бунин вошел в историю мировой литературы как первый русский (а точнее – русскоязычный, ибо в графе «гражданство» официально значилось: «без гражданства») лауреат Нобелевской премии. Звание сколь несомненное, столь и сомнительное. Нобелевская премия, как и всякая другая премия, достаточно условное мерило таланта и художественного дара, разве что более мифологизированное и разрекламированное. Но, скажем, кто и где сегодня знает имена Сюлли-Прюдома, Бьернсона, Эчегерай-и-Эйсагирре, Кардуччи, Эйкена, фон Хейденстама, Гьеллерупа, Шпиттелера, Деледды, Карлфельдта, Силланпяя (можно добавить сюда еще десятка полтора-два столь же экзотических даже для филолога

имен)? А ведь все они нобелиаты! Каждый отмечен или «за выдающиеся литературные достоинства», или «за многочисленные заслуги», или «за многообразное поэтическое творчество». «За несравненный эпос». «За высокое мастерство». «За серьезные поиски истины, всепроницающую силу мысли, широкой кругозор, живость и убедительность». Или вот, как Харри Мартинсон, лауреат 1974 года, «За творчество, в котором есть все – от капли росы до космоса»!

Бунин – в *их* числе?

Конечно, можно вспомнить, что среди нобелевских лауреатов числятся Киплинг, Метерлинк, Тагор, Гамсун, Шоу, Томас Манн, Гессе, Фолкнер, Жид, Мориак, Хемингуэй, Камю, Сартр, Белль, Кавабата, Беккет, Солженицын, Маркес (и этот список всем известных имен можно пополнить). Каждый образованный человек если не читал, то, по крайней мере, слышал об этих писателях. Они – золотой фонд мирового культурного наследия. Можно и без казенных формулировок догадаться, за что они отмечены престижной наградой и солидной суммой денег.

Бунин – в *одном с ними* ряду?

Пожалуй, понять место Бунина в искусстве было бы проще, если бы он остался без пресловутой награды (хотя с точки зрения биографической и исторической слава Богу, честь и хвала шведским академикам, что поддержали в бедственную минуту жизни замечательного русского художника, а вместе с ним и всю русскую эмиграцию, нищую, бездомную,

кинутую на произвол судьбы, униженную и оскорбленную). Еще Пушкин сказал, что художника нужно оценивать по законам, им самим провозглашенным. И уж точно – не по чужеземным премиям!

Младший современник Льва Толстого, Тургенева и Чехова, Бунин унаследовал от них традиции реалистической эстетики. Жизнь человека предстает в его произведениях во всей полноте красок, звуков, событий – повседневных забот и подвигов, хозяйственных трудов и праздников, страстей, страданий, сомнений и побед. Наедине с природой и в сутолоке города. В часы любовного опьянения и на краю гроба. Его глаз был зорек и наблюдателен, его ухо – чутко и внимательно. Язык его произведений обилен и щедр.

Бунин дружил с Куприным и Горьким. Любил доброжелательный круг московских литераторов-реалистов, многие годы с охотой посещал «Среды» Д. Телешева, где общался с Н. Златовратским, Б. Зайцевым, Л. Андреевым, В. Вересаевым, А. Серафимовичем, С. Найденовым, И. Шмелевым, С. Голоушевым... В их кругу Бунин чувствовал себя «среди своих». Его здесь любили, приветствовали и восхищались. Долгие годы это была поистине *его* среда.

Напротив, напряженно складывались его отношения с лагерем модернистов. Хоть и пробовал печататься в «Весах», и даже издал сборник стихов в «Скорпионе», но с В. Брюсовым контакта не нашел. Неприязненно отзывался и о Бальмонте. Чуждыми оказались А. Блок и Андрей Белый. Скеп-

тически смотрел на Н. Гумилева и его «Цех поэтов». Представители авангардных направлений тоже не вызывали симпатии. Если символисты (и выросшие из них акмеисты), на его взгляд, были слишком искусственными и книжными, то футуристы – чересчур уличными и грубыми. Всякое отклонение от правды жизни воспринимал он если не как кощунство, то по меньшей мере как дурной тон. Экспериментов в искусстве Бунин не признавал. Подчеркнуто выставлял себя последним классиком русской литературы.

Таковым в конце концов его все и признали...

Господь даровал Бунину долгий век, судил жить в эпоху глобальных перемен. Он родился в один год с Лениным, умер спустя несколько месяцев после смерти Сталина. Видел гибель Российской империи, наблюдал за рождением Советской России. На его глазах возникали тоталитарные режимы. «Метались смятенные народы». Человечество изощряло свой интеллект в создании различных средств самоистребления, одновременно скатываясь к нравам дикого варварства: отравляющие газы, танки, боевая авиация, реактивное и ядерное оружие, ГУЛАГ, Освенцим, Бухенвальд и Дахау – не болезненные *видения* Раскольникова и Достоевского, которого Бунин не жаловал именно за «болезненность» его воображения, а *газетные новости*, повседневная реальность, безжалостный факт.

«Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что

будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого – пытаться по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом», – утверждал в «Архипелаге ГУЛАГ» младший современник Бунина Александр Солженицын.

Но Бунин с ума не сошел.

«Да не только чеховские герои, – продолжал свою мысль Солженицын, – но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало у Екатерины, – то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, – было совершено не одним злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв».

Бунин мог поверить.

Более того, знал и предупреждал. В отличие от своего старшего брата Юлия, народника и прогрессиста, никогда не был «чеховским интеллигентом». На своих соотечественников смотрел он трезвым взглядом. Его повесть «Деревня» вызвала шок и упреки в очернительстве (как сказали бы советские критики). Но не только «Деревня», вся бунинская проза довоенного периода не знает компромиссов с интеллигентской мифологией о народе. В интервью «Московской газете» 23 июля 1912 года Бунин говорил: «У нас, несмотря на целые общественные и литературные полосы, касавшиеся самых недр народной жизни, в сущности, русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ».

Он видел жестокость, косность, хамство и бессмысленность жизни русской деревни. Мужика и помещика, простолюдина и аристократа, обывателя и артиста, революционера-подпольщика и царя-батюшки – до революции вся Россия, включая Москву и Петербург, оставалась по сути своей деревней (вспомним пушкинский эпиграф к главе «Евгения Онегина»)¹. 7 октября 1917 года, за две недели до окончательного краха России, Бунин записал в дневнике: «Думал о своей „Деревне“. Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку – верь мне, я взял типическое».

Но как, откуда?

¹ O rus!... О Русь! Ног. (лат.) – О деревня!.. Гораций.

С детства он был заворочен таинством смерти. Мемуаристы говорят: боялся. Скорее – не мог смириться с ней, бунтовал, возмущался: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». Смерть, точнее ее физическое проявление, была ему отвратительна. Возмущался обрядами: «Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку и я высох бы. А в землю – это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает». На похороны ходил крайне редко (даже не простился с матерью и отцом). Смерти не принимал. Не понимал.

И не мог оторвать взгляда, переключить сознание: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске!» Перед лицом смерти острее чувствовалась божественная красота мира и убожество человеческого образа жизни. Человек как субъект экономической деятельности, как юридическое лицо, как член социума в суетных потугах обогатиться, выслужиться, заявить свое право, обогнать, обворовать, покорить и унижить, лицемерящий в семье и в храме, тайно бесстыдный и беспринципный, равно как и человек духовный, образованный, воспитанный, добропорядочный и честный, исправный налогоплательщик, гражданин и патриот, готовый сложить голову «за веру, царя и Отечество», служитель муз или просто «добрый парень» обречены

сойти на нет, умолкнуть, застыть, истлеть – а звезды будут светить, а ветра – дуть, а море – катить свои волны. Как и сто, и тысячу, и миллион лет назад. Бунин всеми органами ощущал силу мира и – наше/свое бессилие. Калейдоскоп истории, завертевшийся перед глазами в бешеном круговороте, непрерывное странствие по свету, бессчетные встречи и расставания усугубили это чувство. На самом деле пугала не смерть, а бессмысленность жизни. Не только российской.

Абсурд бытия и непостижимый порядок жизни открылись Бунину очень рано. Он не сразу подобрал ключ к их изображению, но, когда им овладел, заговорил так, как никто из его современников. В его прозе появилась безжалостная *зеркальность*: мир предстал одномоментно и детально, но (и только!) в пределах рамы. Шаг в сторону – и ничего нет.

Было ли?

Есть. И пребудет вовеки. Исчезнет лишь тот, кто выйдет из угла отражения, ушедший вдаль – останется в *глубине* перспективы. Такой системы координат русская литература до Бунина не знала. Мир классической литературы располагался *по вертикали*, между небом и землей, раем и адом. Мир Бунина *лежит* перед ним и позади – даже когда он смотрит на звезды. Там нет добра и зла, есть только жизнь и смерть – изобильная жизнь и ненасытная смерть.

Герой рассказа «Чаша жизни» (1913) с говорящей фамилией Горизонтов, человек необычной внешности и склада ума, который «далеко мог бы пойти», прожив вопреки тому

размеренную жизнь гимназического учителя, отправляется в финале из родного Стрелецка в Москву:

«— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно... да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело

жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов – рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц».

Бунин – первый русский писатель-экзистенциалист, нашедший верный художественный ответ наступавшему веку безразличия и беспредела, где все равны – где все равно. Не понятый друзьями-реалистами, не признанный противниками-модернистами, отмеченный европейскими интеллектуалами как *национальный* писатель, «за строгое мастерство, с

которым он развивает традиции русской классической прозы», он высился среди них одинокой вершиной – то ли московским Иваном Великим, то ли альпийским Монбланом.

Ледяная ночь, мистраль
(он еще не стих).
Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

Павел Фокин

Личность

Облик

Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881–1961), *вторая жена И. А. Бунина, автор мемуаров «Жизнь Бунина», прожила с ним более сорока шести лет (с 1907 года):*

С едва пробивающимися усиками <...> тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Волосы густые, расчесаны на пробор. Одет в мягкую рубашку, галстук широкий, длинный; однобортный пиджак застегнут на все пуговицы. По рассказам, глаза его были темно-синие, румянец во всю щеку. Сразу было видно, что он из деревни, здоровый юноша [35, 93].

Иван Алексеевич Бунин, *в пересказе А. Седых:*

Были у меня романтические глаза, такие синие, мечтательные. И нежный пушок на щеках, так что меня иногда принимали за молодого еврея. Галстук носил я атласный, двойной, пушкинского времени [43, 192].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Художник Пархоменко, живший в ту пору (в 1891 г. – Сост.) в Орле, рассказывал мне при знакомстве, что у Ивана

Алексеевича были очень красивые густые волосы и что ему хотелось его писать [35, 124].

Вера Николаевна Муромцева-Булнина:

Остался портрет, снятый в Полтаве в 1895 году. <...> Иван Алексеевич сильно изменился: стал носить пышные усы, бородку. Крахмальные высокие с загнутыми углами воротнички, темный галстук бабочкой, темный двубортный пиджак. На этом портрете у него прекрасное лицо, поражают глаза своей глубиной и в то же время прозрачностью [32, 128].

Викентий Викентьевич Вересаев (*настоящая фамилия Смидович, 1867–1945*), *писатель, мемуарист:*

Худощавый, стройный блондин, с бородкой клинышком, с изящными манерами, губы брызгливые и надменные, геморроидальный цвет лица, глаза небольшие. Но однажды мне пришлось видеть: вдруг глаза эти загорелись чудесным синим светом, как будто шедшим изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив [20, 453].

Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957), *прозаик, организатор литературно-художественного кружка «Среда», многолетний друг и корреспондент И. А. Бунина:*

Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, всегда хорошо и строго одетый [52, 40].

Борис Константинович Зайцев (1881–1972), *писатель, многолетний друг Бунина:*

Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы – тогда русо-каштановой – изящный, суховатый, худощавый [23, 277].

Андрей Белый (1880–1934) *поэт, прозаик, мемуарист, теоретик символизма:*

Желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами около глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающей темных волос, с темно-русой испанской бородкой, с губами, едва дососавшими свой неизменный лимон [9, 252–253].

Борис Константинович Зайцев:

«На половине странствия нашей жизни», лет в тридцать пять, был он изящен, тонок, горд, самоуверен [22, 397].

Валентин Петрович Катаев (1897–1986), *писатель, в 1914–1918 встречался с Буниным в Одессе:*

[1910-е] Перед нами предстал сорокалетний господин – сухой, желчный, щеголеватый – с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно. <...>

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русская, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. <...> Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета – может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник – или, как тогда говорилось, воротнички – высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона [26, 12–13].

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956), поэт, литературовед, переводчик:

Костистое, бледно-зеленое в свете ювелирной витрины лицо: слоновья крутая челюсть, плотно сжатые губы под щетиноватыми подстриженными усами, большие, как бы невидящие, глаза.

Валентин Петрович Катаев:

[1912–1916] Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апаши и парусиновых туфлях, Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщо-

вой рубахе с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями <...>, а простым, но тоже, видать, очень недешевым, кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский [26, 51].

Николай Яковлевич Роцин (*настоящая фамилия Федоров, 1896–1956*), писатель, журналист, около двадцати пяти лет с перерывами жил у Буниных в Грассе:

[1919] Меня встретил высокий, слегка сутулый, сухоощавый старик с приподнятым правым плечом, изможденным, до скорбности печальным, темным лицом, в черной шелковой шапочке, похожий на Анатоля Франса. Мы сидели в комнате за большим овальным полированным столом, он все кутался в плед, смотрел на меня своими серо-голубыми, безразлично-внимательными, усталыми глазами, глуховатым медленным голосом расспрашивал о друзьях и обо мне самом [40, 170].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника 1919 г.:*

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина [54, 180].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника 1921 г.:*

Я зажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличает меня от прежнего – только это [31, 385].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника 1921 г.:*

20 мая/2 июня 1921. Звонок. Отворяю. Гиппиус. <...> Пили чай. К нам вышел Ян в зеленом халате.

– Настоящий Иоанн Грозный! – сказала она протяжно. <...>

Потом она стала рассматривать халат Яна, подкладку, и просить Яна, чтобы он надел его наизнанку. Ян вышел в другую комнату и вернулся весь красный.

– Вы настоящий теперь Мефистофель.

Зашла речь о том, что теперь красный цвет вызывает неприятное ощущение.

– Я теперь уже отошел, но в Одессе после большевиков красный цвет доставлял мне настоящие физические мучения, – сказал Ян, – этот халат был сделан еще в шестнадцатом году [55, 34–35].

Николай Яковлевич Рошин:

В тот субботний вечер гостеприимный хозяин (в 1924 г., П. А. Нилус. – Сост.) устроил праздничный ужин. <...> Точно в назначенное время, пропуская вперед сероглазую статную свою жену В. Н. Муромцеву, считавшуюся когда-то «первой московской красавицей», вошел самый знатный из гостей. Вошел – и сразу же просто, естественно и полно завладел вниманием всех. <...> Куда делись дряблые, обвисшие щеки, равнодушно-усталый взгляд, глухой голос! Я наслаждался всем видом этого моложавого, лишь слегка сидящего человека, его стройной, спортивно-подтянутой фигурой, необыкновенно выразительным тонким лицом – «лицом римского патриция», как принято было говорить о нем, – освещенным блеском умных живых глаз и улыбкой, то юношески-насмешливой, то ласковой и доброй, его сильным и теплым, «играющим» голосом и совершенно лишенной интеллигентской вычурности, меткой, хваткой, яркой, остроумной речью, от которой, как говорил Л. Андреев, «ломит щеки» [40, 171].

Ирина Владимировна Одоевцева (1901–1990), поэт, прозаик, мемуаристка:

Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо, горделиво закинув голову. И от этого или оттого, что он был очень строен, казался высоким.

Его красивое, надменное лицо выражало холодное, самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко, пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели все – хоть на аршин под землей [37, 229].

Томас Манн (1875–1955), немецкий писатель, нобелевский лауреат 1929 г.:

Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого [32, 379–380].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова (1904–1993), художница, ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова, друг семьи Буниных:

Осанка у него была барская, держался всегда прямо, даже когда опирался на палку. В своей всегдашней английской кепи, загорелый, походил он скорее на моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно любил путешествия <...> [32, 310].

Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961), поэт:

Одевался он под английского лорда. Было в нем что-то от героя Жюль Верна, от благородного и честного искателя [45, 257].

Василий Семенович Яновский (1906–1989), *публицист, врач:*

Бунин на собраниях или в гостиной был наряжен и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец [59, 313].

Серж Лифарь (Сергей Михайлович Лифарь, 1905–1986), *танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик балета, коллекционер:*

Иван Алексеевич был из породы «вечных лицеистов» – «франтов», – пускай он был богат или бедный. Его канотье был его любимый головной убор. Монокль на черной ленте, на шее «вечный» мотылек – его галстук. Трость в его руках была не нема – она тоже была инструмент искусства. Одежда проглажена, но брюки И. А. были всегда коротки – на вершок? А летом, как и Шаляпин, И. А. любил фланелевые белые [5, 141].

Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976), *последняя любовь И. Бунина, романистка. Из дневника:*

7 июня 1927. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен [28, 23].

Борис Константинович Зайцев:

Грасс, свет, солнце, море... Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях белых на босу ногу...

Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног – он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское.

Засучивает совсем рукава рубашки.

– Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре [22, 338–339].

Ирина Владимировна Одоевцева:

У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна» [37, 270].

София Юльевна Прегель (1897–1972), *поэт, редактор и издатель журнала «Новоселье» (1942–1950):*

Меня поражала способность Ивана Алексеевича преобразаться. Вспоминаю Beauroleil над Монте-Карло, где незадолго до Второй мировой войны жили Бунины. Пасхальный стол с недоеденным куличом и обезглавленной сырной пасхой,

несколько сине-красных яиц. За столом Бунин в каком-то странном одеянии говорит со мной об Одессе. Дальше все, как во сне: Бунин уходит к себе, мы остаемся, продолжаем домашний разговор, и вот, неожиданно для всех, появляется Иван Алексеевич. Он в светло-сером костюме, в петлице у него белая гвоздика. Морщин как не бывало. Он полон неисребимой молодости. Сейчас Бунин спустится в Монте-Карло. Он загадочно улыбается, и всем становится весело [32, 353].

Георгий Викторович Адамович (1892–1972), *поэт, литературный критик:*

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Сиди-на шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римско-сенаторское, усилив-вавшееся с течением дальнейших лет [3, 112].

Владимир Пименович Крымов (1878–1968), *авантюрист, предприниматель, издатель первого в России «журнала красивой жизни» «Столица и усадьба» (1913–1917):*

Бунин постарел, но по-прежнему красивый мужчина. Со-всем бритый, совсем Будда. Во всяком случае, мэтр. Так се-бя и держит [27, 201].

Никита Алексеевич Струве (род. 1931), *публицист, профессор русской литературы, директор издательства*

«ИМКА-Пресс», внук П. Б. Струве:

Иван Алексеевич производил сильное впечатление. Чем? Своей скульптурной силой. В нем была какая-то отточенность. <...> Весь его облик был внешне неподвижным, что-то в нем было такое именно статуарное... Он казался каким-то холодным, замороженным [51, 41–42].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова (1904–1993), художница (псевд. *Logiine*), ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова. Примыкала к так наз. «Парижской школе». В эмиграции с 1920 г. Друг семьи Буниных:

Лицо Бунина описать трудно. Все черты его лица были подвижны. Складки около глаз, морщины продольные на лбу, немного отвисшие щеки, раздвоенный волевой подбородок и, особенно, рот и губы были настолько подвижны, что казался Бунин «многоликим». Даже нос, немного орлиный, казалось, менялся.

Глаза небольшие, глубоко посаженные освещали это особенное лицо, и тоже молниеносно изменялось их выражение, и даже их цвет: голубой, серый, зеленоватый. Был в них молодой блеск и даже задор, искрящийся юмор и тайная грусть, и ласка, порой даже гнев, возмущение, даже ярость.

Когда И. А., всегда куря и сам увлекаясь, что-то рассказывал, то было необычайно интересно следить за сменой выражений его «многоликого» лица. Был он «неуловим» и поэтому не любил позировать для портретов, и даже для фото-

графий [32, 310].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я, сидя с ним около его камина или перед окном нашей комнаты, часто удивляюсь, как меняется его внешность. В продолжение какого-нибудь часа он будто проходит разные эпохи жизни. То он кажется старым-престарым старцем, то человеком средних лет, то молодым. Его выразительное лицо меняется невероятно быстро, преображается под влиянием настроения, чувств и мыслей [37, 257].

Никита Алексеевич Струве:

Помню я его сразу после войны (Второй мировой. – Сост.), 75-летним, моложавым, благообразным. Невысокий (хотя себя считал ростом выше среднего), но очень прямой, нарочито подтянутый, неsgiбающийся, чуть деревянный [50, 249].

Банин (*Ум-эль Бану Асадуллаева, 1905–1992*), азербайджанская писательница, жившая во Франции:

Как всегда прямой, элегантный, одетый с иголки, в этот вечер он казался только что выстиранным, накрахмаленным, выглаженным, обновленным, – чистеньким ребенком семидесяти шести лет, пахнущим лавандой. Тропическая жара превратила Париж в раскаленную печь. <...> На Бунине была поверх рубашки легкая белая куртка. Все это, как и волосы,

сверкало белизной – он был великолепен [53].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма в редакцию журнала «Октябрь», 25 марта 1948 г.:*

Вопреки совершенно нелепым вымыслам Юрия Жукова («На Западе после войны», десятая кн. «Октября» за прошлый год) я не «маленький и сухонький», а выше среднего роста, худощавый, но широкий в кости и в плечах, держусь твердо и прямо, – «фигура-то у вас, папаша, еще знаменитая!» – сказал мне один пленный красноармеец; назвать мое лицо «рафинированным лицом эстета» может только круглый дурак; губами я никогда не жую, пенсне не ношу – только прикладываю к глазам, когда смотрю вдаль; голос имею не «скрипучий», а еще настолько звучный, что, когда читаю в зале перед тысячной публикой, слышно в самых дальних углах [19, 76].

Ирина Владимировна Одоевцева:

На верхней площадке он останавливается, разворачивает длинный пестрый шарф, закутывающий его шею, и расстегивает пальто, зашпиленное сверху большой английской булавкой.

Эта английская булавка – без нее он и в Париже не обходится зимой – всегда удивляла меня. Ведь Бунин очень занят своей наружностью и элегантностью [37, 241].

Александр Васильевич Бахрах (1902–1985), *литературный критик, мемуарист, с 1940 по 1944 год жил у Буниных в Грассе:*

Обычно до завтрака он не одевался и появлялся в столовой в потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневый мундштучок папиросой во рту. Эта самая ермолка и грошовый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой книг [8, 70].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле перед камином, в длинном халате из верблюжьей шерсти, в ночных туфлях и... широкополой синей полотняной шляпе.

Я еще никогда не видела его в таком виде и, боясь выдать свое удивление, отвожу глаза и смотрю в огонь. Халат и туфли – хотя только восемь часов вечера, куда бы ни шло, но эта нелепая шляпа!..

Я знаю, что Анатолий Франс и Андре Жид в старости тоже увлекались «головными уборами». <...>

Но шляпа Бунина все же бьет все рекорды нелепости. Она похожа на птицу, распутившую крылья, на птицу, присевшую на его голову перед дальнейшим полетом. На синюю птицу [37, 242].

Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001), поэт, прозаик, литературный критик, журналист, мемуаристка:

Как будто с 1939 года по 1948-й прошло не так уж много времени <...> но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было – жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем [57, 211].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты (в марте 1948-го. – Сост.). В окне – «дальний закат, как персидская шаль». На фоне заката четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали [37, 281].

София Юльевна Прегель:

Он похож на ощипанного орла, и на лицо его уже легли нехорошие тени, предвестники конца [32, 352].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

– А что вы обо мне пишете? <...>

Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».

Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч» [57, 214].

Владимир Михайлович Зернов (1904–1990), потомственный врач, сотрудник Пастеровского института в Париже, лечил Бунина в последние годы его жизни:

Раз я пришел к Буниным с моим сыном, которому было тогда 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел в своей кровати. Мой сын, увидев его, сказал: «Это дед Мороз, но больной дед Мороз», хотя Иван Алексеевич не носил бороды и усов и, как будто, не мог иметь ничего общего с тем внешним обликом, каким изображают обычно деда Мороза, но в этом детском определении было что-то очень меткое. Для ребенка дед Мороз представляется, прежде всего, кем-то безусловно добрым, торжественным и красивым, но вместе с тем и необычным. В лице Ивана Алексеевича, в последние годы его жизни, было все это – и некая торжественность, и доброта, и строгость, и, прежде всего, лицо красивое, необычное, его нельзя было не заметить, нельзя не обратить внимания [32, 361].

Характер

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 31 июля – 1 августа 1947 г.:*

Всегда боюсь, что кто-то несколько любящий меня вдруг во мне разочаруется, – так пусть же поменьше любит меня [58, 135].

Борис Константинович Зайцев. *Из письма А. К. Бабореко. 3 октября 1966 г.:*

Иван был одареннейшая и своеобразнейшая фигура, – и большой шарм, и много нелегкого [5, 132].

Николай Яковлевич Роцин:

Вокруг имени И. А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце». Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивительного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека [32, 438].

Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак, 1902–1994), журналист, мемуарист, корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня» (Париж), главный редактор газеты «Новое русское слово» (США), в нобелевские дни секретарь

И. А. Бунина:

Много раз слышал я такой отзыв:

– Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых есть всегда глубокая, волнующая страстность. <...> Таков был Бунин в жизни – вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладать с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия [43, 186].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Слишком он ни на кого не похож, и часто ему не нравится то, что я привыкла считать чуть ли не за непреложную истину. Он, правда, ничего не навязывает, только бросит какое-нибудь замечание, – если сразу не схватишь, не поймешь, то разъяснять не станет, не станет и убеждать [35, 333].

Андрей Седых:

В нем была какая-то неподдельная стыдливость – Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские компли-

менты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

– Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

– Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью [43, 186].

Георгий Викторович Адамович:

У Бунина <...> был редкостный слух к фальши, к «педали»: чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость [35, 11].

Антонин Петрович Ладинский (1896–1961), поэт, исторический романист, мемуарист:

Все, что характерно для Бунина как для писателя, характеризовало его и как человека. Как и в своих писаниях, он был способен сказать резкое слово, определить человека одним словом и не любил мягкотелости [36, 214].

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места «противника». Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и настроение тут же улучшается.

– Кого бы выругать? – обращается иногда к окружающим [8, 101–102].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Был капризен и привередлив, как истеричная красавица. Например, когда его приглашали участвовать в литературном вечере, он ставил непременно, совершенно категорическим условием, что будет выступать первым. И – приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители волновались, звонили ему по телефону, но выпускать кого-нибудь раньше него не осмеливались. Делало его таким окружавшее его поклонение. Если же он встречал решительный отпор, то сразу отступал [20, 454].

Александр Васильевич Бахрах:

Он был несколько труслив и нерешителен, когда дело касалось, если можно так в данном случае выразиться, «мелочей», но иной раз почти героичен, когда дело шло о чем-то действительно существенном и принципиальном [8, 181–182].

Александр Васильевич Бахрах:

Иван Алексеевич часто не замечал того, чего заметить не хотел, того, из чего ему пришлось бы сделать какие-то не улыбающиеся ему выводы [8, 41].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью [37, 235–236].

Иван Алексеевич Бунин. В записи И. В. Одоевцевой:

Я вообще легко плачу, – это у меня наследственное – романтическая певучесть и слезоточивость сердца, – от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам – от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука [37, 253].

Александр Васильевич Бахрах:

Бунин был по природе застенчив. Был он застенчив, несмотря на видимость агрессивности, на врожденную насмешливость, на великое множество бьющих в точку злых стрел, направленных против своих современников, иногда даже литературных друзей, на унаследованную им от от-

да любовь к нецензурной ругани, на то, что ему иногда в применении к себе хотелось бы употребить некий «*pluralis majestatis*»².

«...» Нередко он был неспособен принять то или иное решение, которое подсказывалось ему разумом или практическими соображениями, не в силах был обрубить с размаха единым ударом какие-то угнетавшие его «узлы» именно из-за своей... застенчивости. Но и обратно, этой же полускрытой стороной его характера можно объяснить... некоторые его «эскапады», некоторые едва ли не спровоцированные им самим инциденты, в которых погода — наедине с собой — он неизменно раскаивался и их болезненно переживал. [8, 56–57].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много. «...»

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования [57, 204–208].

Георгий Викторович Адамович:

Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не бы-

² «Возвеличивающее множественное число» (лат.).

ло доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как-то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк» [3, 125].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

И. А. был очень скрытным, очень внутренне замкнутым человеком [32, 310–311].

Александр Васильевич Бахрах:

По природе своей Бунин был крайне недоверчив, но провести его, думается, ничего не стоило. Он был упрям, но его легко было переубедить, хотя по прошествии короткого срока он неминуемо возвращался к своей исходной точке, охотно забывая, что успел изменить свое мнение [8, 184].

Иван Алексеевич Бунин. В записи И. В. Одоевцевой:

Характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. А «vivre loin de moi-même»³, как жил, по его словам, Анатоль Франс, – не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки... прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик [37, 251].

³ «Жить с самим собой» (*фр.*).

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма В. Зайцевой. Июнь 1943 г.:*

Я думаю, что Яну тяжело не от внешних условий. Тяжело ему будет везде [21, 326].

Нина Николаевна Берберова (1901–1993), писательница, мемуаристка:

Он любил смех, он любил всякую «освободительную» функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции [10, 294].

Александр Васильевич Бахрах:

Обычно сдержанный, иной раз, чего-то недослышав или не разобравшись в том, что ему было сказано, он мог вдруг разъяриться, вспыхнуть, наговорить кучу ненужных слов, приносящих вред только ему самому. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим года жизни под его кровлей подобные вспышки, сопровождаемые громом и молниями, я мог наблюдать не больше двух-трех раз [8, 41].

Николай Дмитриевич Телешов:

Это был человек, что называется, – непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то

из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона [52, 41].

Борис Константинович Зайцев:

Оседлости не любил Бунин – нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу – тогда виз не требовалось! [23, 278]

Валентин Петрович Катаев:

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живет, а как только надоест – отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки – то же самое. В чемодане же – записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

– Вроде вашей пепельницы?

– Именно.

Он говорил в шутовском тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины живут

всегда как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих картин, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей [26, 89].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он <...> встает, подобрав полы халата, и мелкой, шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

– Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

– Я ведь бродник. Что, никогда не слышали такого слова? Это такие казаки-бродники бывали. Не могли усидеть на месте, все их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где только я не был? – Он вздыхает и закрывает глаза: – А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал [37, 272].

Александр Васильевич Бахрах:

Не было у него <...> того, что неуклюже именуется «локаль-патриотизмом». Он любил Москву, но не менее уютно чувствовал себя в Одессе или в отцовском полуразоренном имении. Любил дальние странствия, Восток, Стамбул, который не переставал называть по инерции Константинополем, но затем полюбил скалистый средиземноморский ост-

ровок с его почти бутфорской красотой, и, кажется, нигде он так усердно и усидчиво не работал, как именно на Капри. А затем он полюбил Париж, полюбил вполне искренне, но еще больше – тихий Грасс, окружавшие городок жасминные и розовые поля, малопривлекательные для глаза, вид на Эстерель, в ясные дни – вид на бесшумное море. В Грассе он чувствовал себя совсем «дома». <...> Бунину было хорошо там, где он мог спокойно работать, совершать прогулки, иногда встречать людей, ему симпатичных. А что было на заднем плане – в сущности, было для него второстепенным [8, 135].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника:*

11 февраля 1932. Ян <...> ничем не может себя забавлять – он даже ни в одну игру не играет. Это важная черта в его характере. Он может наслаждаться только подлинной жизнью, и никакая игра ни в какой области его не занимает [55, 214].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

10 сентября 1930.

– Бывает с вами, И. А., – говорю я, – чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

– Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражания. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не под-

ражал. Никогда во мне не было восхищения ни перед кем, кроме только Толстого.

– И ты воображаешь, что это хорошо? – спросила В. Н. (Булнина. – *Сост.*)

– В вас есть какая-то неподвижность, – сказала я.

– Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой как... [28, 167–168]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив – он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Рошин, по прозвищу «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел мало радости – и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то что, по опре-

делению самого Ивана Алексеевича, в те времена – до получения Нобелевской премии – в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто появлялся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом» [37, 235].

Александр Васильевич Бахрах:

С людьми его отношения осложнялись тем, что подчас он мог убедить себя, что «козь любить, так без оглядки» (имею, конечно, в виду только сферу дружеских отношений). Он способен был привязаться к человеку, заранее зная все его недочеты, не считаясь с ними и – больше того, – может быть, не вполне ясно сознавая, чем ему данный человек потрафил: полюбился, и все тут... Зато редко когда он мог подолгу ненавидеть [8, 133].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. К. Бабореко. 5 января 1959 г.:*

Я менее злопамятного человека не знаю, чем он. Когда проходил известный срок того или другого отношения к нему человека, он забывал почти все [6, 79].

София Юльевна Прегель:

Веселый человек, желчный и нежный, умеющий и облас-

кать и выругать, духовный сын всего самого лучшего, что было в девятнадцатом столетии. Но это не живой анахронизм: он современен как никто [32, 353].

Творчество

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Главное – пишите только о страшном или о прекрасном. Как хорошо ни изобразите скуку, все равно скучно читать. Только о прекрасном и страшном – запомните [37, 230].

Антонин Петрович Ладинский:

В писательском ремесле больше всего он ценил правдивость, свежесть образа, наблюдательность, хорошую писательскую находку в виде какого-нибудь острого положения или редкого словечка, точный и вкусный эпитет, а в стихах – высокую мысль [36, 219–220].

Николай Дмитриевич Телешов:

Любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степени [52, 41].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать и у некоторых других крупных художников: со-

единение совершенно паршивого человека с непоколебимо честным и взыскательным к себе художником.

И рядом с этим никакое ожидание самых крупных гоноров или самой громкой славы не могло бы заставить его написать хоть одну строчку, противоречащую его художественной совести. Все, что он писал, было отмечено глубочайшей художественной адекватностью и целомудрием [20, 454].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Н. А. Пушкиникова:*

Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. <...> Для меня главное – это найти звук. Как только я его нашел – все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не соглашаясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому – чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский... Многие слова – а их невероятно много – я никогда не употребляю, слова самые обыденные. Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк. Я не знаю, как должен оплачиваться такой анафемский труд. А между тем я получаю по тысяче

рублей за лист. И говорят, что это много. Я ехал на пароходе как-то с В. И. Немировичем-Данченко. Он сказал: «Ну что, разве вы, новые, литераторы?! Я пока доеду, здесь на пароходе напишу целый роман». В сущности говоря, все литературные приемы надо послать к черту! Пусть критики едят за это сколько угодно. Иначе никогда ничего путного не напишешь. Может быть, к старости я что-нибудь путное напишу. В сущности говоря, со времени Пушкина и Лермонтова литературное мастерство не пошло вперед. Были внесены новые темы, новые чувства и проч., но самое литературное искусство не двинулось. Проза Лермонтова и Пушкина остались не превзойдены <...>

Я всю жизнь испытываю муки Танталя. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется. В сущности говоря, я занимаюсь невозможным занятием. Я изнемогаю от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе [7, 246–248].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Сад наполнился лунным светом.

– Пойдем, посмотрим на море, – предложил Ян.

И когда мы с радостью все вышли на воздух, воскликнул:

– Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или

другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу [35, 300].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха – движение нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно, кроме писания, найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И мука [37, 270].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи В. П. Крымова:*

Сколько жизненной силы уходит на работу, читают и думают, что вот так, между прочим, походя написал, не знают того, что о сюжете думаешь неделями и месяцами, а какая-нибудь фраза не ложится уютно, так полночи не спишь [27, 204–205].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего [28, 45].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Т. Д. Муравьевой-Ло-*

гиновой:

Я всегда советую молодым писателям не поддаваться одному вдохновению. Нельзя творить, как птица поет. Надо строить. Если дом строить – нужен план, и каждый кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо! В большой талантливости, в блеске – опасность. Слишком легко вам все дается! [32, 308]

Валентин Петрович Катаев:

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

– Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, – сказал он, посмотрев в окно, – опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое – галечное, – требующее единственного непо-

вторимого, верного слова. <...> Наконец опишите воробья... <...> Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать [26, 30].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.